



2017

I

Эта удивительная женщина – легенда русского Серебряного века. Дочь царского генерала из рода маркизов де Мерикур, Елена Генриховна Гуро (1877–1913) поражает современников своим ясным обликом, своей лучистой одухотворённостью. Художник Всеволод Воинов вспоминает, что «душа ее была похожа на кристалл, в одно и то же время прозрачный и отражавший мир под самыми неожиданными углами и гранями». Так же прозрачны и светлы её живописные и литературные произведения, в которых тёплая христианская любовь сочетается с какой-то первозданной созерцательной жизнерадостностью, рождая чувство сияющей слитности святой земли и святого неба.

По сокровенному признанию Велимира Хлебникова, образ Елены Гуро связан с ним многими незримыми нитями. Молодой непризнанный поэт, скитавшийся по сумрачному Петербургу, обретает в доме художницы покой и материнскую заботу. «Наконец-то поэта, создателя миров, приютили, – записывает она в дневнике. – Конечно, понимавшие его, не презиравшие дыбом волос и диких свирепых голубых глазищ».

Вскоре Велимир Хлебников напишет стихотворение, которое принесёт ему всемирную славу «заумника». Оно будет напеча-

но в сборнике «Пощёчина общественному вкусу», который увидит свет в декабре 1912 года. Его первую страницу украсят хлебниковские стихи, отразившие трепещущие зарницы «самовитого» слова:

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

Случится шум. Всеведущий газетчик Гомункулус (Давид Заславский), прочтя малопонятные ему строки, с ехидцей растолкует читателям: «Общественный вкус требует смысла в словах. Бей его по морде бессмыслицей! Общественный вкус требует знаков препинания. Надо его, значит, ударить отсутствием знаков препинания. Очень просто. Шиворот-навыворот – вот и всё». Следом многие сочтут «Бобэоби» тарабарщиной. Но заумь ли это?

II

«Ханская ставка» в бескрайних астраханских степях, в этом треугольнике Христа, Будды и Магомета – место рождения «гения, великого поэта современности», как позднее поименуют Хлебникова друзья. Его отец – учёный, знаток царства птиц, вёл родословную от ростовских посадников, мать – от запорожских казаков.

В библиотеке юноша найдёт замечательный труд Николая Данилевского «Россия и Европа». Будущий «священник цветов» сквозь магический кристалл увидит материк единого славянского и азиатского мира – страну тысячи рек и наречий, прекрасную и таинственную, словно правдоцветиковый папоротник в купальскую ночь. Ему станет враждебен столичный европоцентризм, как огненному Аввакуму – латинская ересь. В праздник очищения – Чистый день – герой «Снежимочки» поклянется единым будущим славян никогда не употреблять иноземных слов, утвердить и прославить русский обычай:

Но нами вспомнится, чем были,
Восставим гордость старой были.

Издалека услышит Хлебников заветный шум молодого зелёного леса, где летают жар-птицы Стравинского, шушукаются конёнковские лесовики, растут побеги «всеславянского языка»

Вячеслава Иванова. И с горечью подумает, что нет у нас гениального творения, подобного лонгфелловской «Гайавате», в котором светился бы «дух материка и душа побеждённых туземцев». И упрекнёт творцов, что позабыли они «про старый Булгар, Казань, древние пути в Индию, сношения с арабами, Биармское царство».

О Биармском царстве Хлебников прочтёт в скандинавских сагах. Туда, на Северную Двину, в неведомую Пермскую землю, ещё в X веке устремлялись варяги – поискать закамского серебра. В священной роще видели они деревянного идола, украшенного золотом и дорогими мехами, узнали, что говорят биармцы на знакомом лопарском языке. Сколько же тайн хранит в себе чудесный материк – Россия! Крестители земель, Сикорские неба, Лобачевские числа, Ермаки Сибири – носители духа первопреходства становятся героями Хлебникова:

С толпою прадедов за нами
Ермак и Ослябя.
Вейся, вейся, русское знамя,
Веди через сушу и через хляби!

Из приволжской Казани юный Хлебников отправляется к Павдинскому камню Урала: отец учит его понимать язык птиц, и звукоподражание увлечёт поэта – он станет чутким к любому звуку мира, будь то соловьиный щёкот или зырянский говор. Его зачаруют древние русские заклинания и легенды, мордовские предания, песни и сказки пермян:

Бобэ, бобэ! кытче ветлын?
(Милый, милый! куда ходил?)

Осенью 1908 года Хлебников приезжает в Петербург. На знаменитой «башне» поэта Вячеслава Иванова, куда вечерами слетались местные избранники Каллиопы и Евтерпы, он читает свои творения. Им восхищаются, но не печатают ни строчки. И заговорят о нём только тогда, когда он пробормочет свои таинственные строки: «Бобэоби пелись губы...». Но никакой бессмыслицы, как представляется, в этом нет: на околице поэтического сознания зырянское «бобэ, бобэ» преобразится в «бобэоби», и загадочные звуки затаят смысл:

Милый, милый пелись губы...

«Конечно, «бобэоби» не принадлежат ни к какому языку, – признается Хлебников, – но в то же время что-то говорят...». О чём же говорят таинственные звуки? Кто изображён на холсте соответствий?

«Соответствия» – одно из самых знаменитых произведений Шарля Бодлера. Французский поэт, увлечённый мистическим учением Эммануила Сведенборга, прислушается к неясному шороху в древнем храме Природы и ощутит смутную соразмерность звука, цвета и запаха, когда душистая чистота обретает зелёную свежесть травы и сладостную переливчатость флейты, а фиолетовый колер скрывает затаённую любовь. Затем Артюр Рембо составит необычный алфавит, где красное «и» в гневе и смехе искривляет губы, а зелёное «у» рисует море и морщины, бороздящие лбы алхимиков. Многим в России это покажется откровением.

«Нам незачем было прививаться извне», – усмехнётся Хлебников: русская мифологическая школа давно говорит о живописании звуком и словом. Ещё Александр Афанасьев, изучая воззрения славян на природу, обнаружит, что для древних слово «не всегда есть только знак, указывающий на известное понятие, но что в то же время оно живописует самые характеристические оттенки предмета и яркие картинные особенности явления». Отголоски первобытной образности мышления слышны в диалектном «каркуне» – вороне или «листодёре» – осеннем ветре. Слово «свет» содержит в себе не только цветковые признаки, но и смысловые: «по древнейшему убеждению, святой есть светлый, белый, ибо сама стихия света есть божество, не терпящее ничего тёмного, нечистого».

На высокой горе, как свидетельствует арабский путешественник Массуди, славяне воздвигают идол владыки света – Святовита, символизирующий четыре стороны света и четыре времени года: он сияет зелёным хризолитом, красным яхонтом, жёлтым сердоликом и белым хрусталём, а глава – из червонного золота. Эти соответствия цветов и понятий отразились в древнерусской иконописи, где золотой свет обозначает лучезарность Божества, красный – пламенную любовь Иисуса, зелёный – весну ветхозаветных обетований, жёлтый – пору второго грозного пришествия Христа. Подобно тому, как христианское линейное время свивается здесь с языческим круговым, так и поэтическое зрение славян согласуется с богомазным «умозрением в красках». Понятие же выражается словом, а его корневой звукоряд первоначально отображает предмет: звук и слово, рождённые «из пламя и света» мысли, ароматней и красочней, чем последующая абстракция – это, можно сказать, благоухающий клюевский «звукоцвет». Поэтому не случайно друг Хлебникова художник Давид Бурлюк заявит на мюнхенской выставке 1910 года, что предтечей нового

русского искусства является не французская живопись, а древнерусская иконопись, «скифская пластика», «ужасные идолы».

Позднее в пятнадцатой плоскости «Зангези», своей славяно-персидской сверхповести, Хлебников поместит своеобразную таблицу соразмерности звука и цвета, которая объяснит тайну его холста соответствий: «лиэээй» засветится белым, как снег черёмух, обликом, «бобэоби» окрасят губы пурпурным блеском зари, сверкнёт чёрными бровями «пиээо», а «вээоми» пронзят взорами, иссиня-зелёными, как празелень на старинных иконах новгородского письма. И только одна деталь покажется лишней: к чему здесь «гзи-гзи-гзэо» – золотой звон цепи?

«В “Бобэоби”, – подсказывает Хлебников, – были узлы будущего – малый выход бога огня и его веселый плеск». Действительно, однажды божество счастливых мгновений – кудрявый мальчик, похожий на Эрота, – уже преподнёс поэту портрет, пылающий красками любви:

Мизинич, миг,
Скользнув средь двух часов,
Мне создал поцелуйный лик,
И крик страстей, и звон оков.

Это, конечно, навеяно древнегреческим мотивом об узах Гиmeneя и освящено пушкинскими строками: «О дева-роза, я в оковах, но не стыжусь твоих оков». Здесь видение прекрасного лика у Хлебникова традиционно соединяется с золотым звоном оков. Затем это повторится в «Бобэоби». Чьи же чары околдовали поэта?

IV

По прибытии в Петербург Хлебников знакомится с Еленой Гуро и сразу ошеломляет её своими стихами, где огромный поющий блистающий мир, ломая старые каноны, возвращает звуку и слову первоначальную дикую красоту. Его крылышкоющие золотописьмом кузнечики, грустинки вечерних кустов будоражат воображение, и Елена Гуро, подражая воркующей речи лопарей, запечатлевает словесный пейзаж любимой Финляндии:

Это-ли? Нет-ли?
Хвои шуют, – шуют
Анна-Мария, Лиза – нет?
Это-ли? Озеро-ли?
Лулла, лолла, лалла-лу...

Богослов Павел Флоренский изумится словом «шуют», передающим непрерывный гул вековых сосен: «Это убедительно. Ну, конечно, хвои «шуют», а не делают при ветре что-либо другое; звук их непрерывен, а шуметь может только прерывистый, прерывающийся колебаниями звук листьев: в слове «шум» – есть задержка и разрыв звука». А может быть, это слово, подобно хлебниковскому «бобэоби», возникает из дальней переклички с зырянским: джои, зато, черы, шуян?

Обоих поэтов сближает светлый пантеистический взгляд на природу, где уитменовские листики травы не меньше подёнщины звёзд: только хлебниковским творениям присуща звонкая экспрессионистичность и рациональность, а вселенная Гуро лучиста, нежна и почти трансцендентна, как греческий можжевельник на лесной вечере. Творчество обоих не укладывается в прокрустово ложе футуризма: как истинные творцы, они строят свои прекрасные корабли выше фраппирующих «пароходов современности». Эти корабли гениально просты и искусны, как варяжские шнекеры, поскольку оба корабеля в своих помыслах божественно чисты, словно Адам и Ева до грехопадения.

Елена Гуро скончается от лейкемии 23 апреля 1913 года – тридцати шести лет от роду. Её смерть Хлебников воспримет как свою собственную. Неожиданно он нарисует портрет умирающей художницы: у неё «белое как мел лицо, чуть сумасшедшие чёрные, как березовый уголь, глаза, торопливо зачёсанные золотистые волосы». Этот образ лишён жизнерадостности «Бобэоби»: кажется, сама барышня Смерть водит огорчённым пером.

На посмертной выставке картин и рисунков Елены Гуро, открывшейся в конце 1913 года, поэт увидит на полотнах дивную серебряную сагу солнца, сосен и камней безвременно ушедшего мира. Ему представится, что он уже чует за спиной дыхание смерти:

На полотне из камней
Я чёрную хвою увидел.
Мне казалось, руки её нет костяней,
Стучится в мой жизненный выдел.
Так рано?

Израильский литературовед Роман Тименчик считает, что эти хлебниковские стихи, написанные в конце 1913 года, посвящены Анне Ахматовой. Очевидно, он ошибается: Хлебников никогда не был духовно близок с поэтессой, исповедующей акмеизм, да и живописью она не занималась. К тому же речь здесь идёт о смерти,

внезапно пришедшей под вечер «наполнить созвездьем гостиную». Разве «гостиная» является непременно атрибутом только одной блистательной поэтессы? И разве молодая Анна Ахматова, начавшая тогда своё многолетнее восхождение на вершину мировой славы, выглядела жутким «костяком», символизирующим смерть?

V

Судьба отпустит Хлебникову ровно столько, сколько и Гуро. Он ещё переживёт первую мировую войну и гражданскую бойню. Поэт услышит в революции бушующую разинскую стихию возмездия и без колебаний встанет на сторону народа, ибо с юношеских лет считает соучастником своего поэтического труда русско-го крестьянина, который за него возделывает землю и сеет хлеб:

Я оттуда, где двое тянут соху,
А третий сохою пашет.

Его идеи возрождения славянского мира и слияния с азийским космосом найдут отзвук в «скифских» теориях Александра Блока и Сергея Есенина. Представление поэта о равенстве и единстве различных культур материка окажется куда гуманней оголтелого европоцентризма, который в российских условиях порой обретает зловеший мизантропический оттенок.

Жизнь поэта во время революции полна невзгод и скитаний: он живёт то в Москве, то в Харькове, то в Баку. Весной 1921 года Хлебников отправится с Красной Армией в персидский поход, по дороге отстанет от отряда и целый месяц будет бродить по Ирану, питаясь выброшенной на берег мелкой рыбёшкой. Местные жители примут его за дервиша и нарекут Гуль-муллой – священником цветов.

Так сбудется давнее пророчество Елены Гуро: «не быть, не быть тебе ни сытым, ни угретым». Он и погибнет, ночуя в глухом новгородском лесу на земле, среди опалых листьев. Как тогда, при известии о кончине художницы, у него отнялись руки, так и теперь, перед собственной смертью, поэт потеряет дар ходьбы.

Велимир Хлебников умрёт тридцати шести лет от роду в Богом забытой деревеньке Санталово. Задолго до трагической гибели он напишет автоэпитафию – песнь себе:

Трость для свирели я срезал
Воспеть Отечества величие,
Врага в уста я не лобзал,
Щадя обычаи приличия.